С. ВЛАДИСЛАВЛЕВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ БЕЖЕНЦА

ПАРИЖ — 1963.

С. ВЛАДИСЛАВЛЕВ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ БЕЖЕНЦА

ПАРИЖ — 1963.



Tous droits reservés par l'auteur.

Я привык к свободной речи и не могу сделаться вновь крепостным, ни даже для того, чтобы страдать с вами.

ГЕРЦЕН (С того берега).

Петроград, Январь 1920 г.

Четвертый год революции. Живем в атмосфере полного бесправия, террора и пугачевщины.

Страшная действительность кругом — холод, голод, сыпной тиф. В домах нет воды, света, топлива. Идет тяжелая борьба за существование. Изнуряет непривычный, непосильный физический труд. А в душе — постоянный страх, безотрадные мысли... И несмотря на все это люди интеллигентных профессий, — врачи, учителя, ученые, — остаются на своем посту, пытаются учить, лечить, заниматься наукой. Иногда на научном или деловом заседании мне кажется, что на лицах присутствующих написано безумие и безумие это в том и заключается, что они способны заниматься обычными делами и забывать, что мы живем, как на вулкане, и не знаем, что будет с каждым из нас на следующий день.

В профессорской семье Капица четыре смерти, — одна за другой. Передавали слова профессора

Иностранцева, что он подумывает о «наиболее безболезненном способе» перехода в лучший мир.

Из «Известий Петросовета» от 7 февраля:
Ужасы в Туле: дома, залитые водой. Трупы людей хоронятся в общей могиле, откуда их растаскивают собаки.

В Москве — декрет об отмене «высшей меры наказания», — и тотчас вслед за тем усиленные расстрелы «буржуев» в Петрограде!
Террористический разгул продолжается!

Чем жива сейчас душа молодежи? Я понимаю, скажем, прислугу. Была подневольной, — стала барыней. Устроилась на самостоятельное место в столовой или хлебопекарне. Спекулирует, ворует, сыта. Может пойти в театр, товарищ матрос или комиссар прокатит на автомобиле, подарит каракулевый сак, — о чем же ей больше мечтать! Но молодежь, горсть интеллигенции... Попрание всех идеалов в общественной жизни.. Суровая борьба за существование, тяжелый физический труд, отнимающий все силы... Наука? Посещаемость в университете — 3%. Иные герои, как профессор Лазаревский, читают лекции в темноте и в ледяной атмосфере. Искусство? Театр? Но искусство пало, нет достиже-

ний, нет «живой воды». Да и до того-ли измученным людям! Нужно что-то иное, что-то новое, соответствующее всей потрясающей важности переживаемого. Волей-неволей у всех сейчас стремление к некоторому духовному перерождению. Вместе с тем необходимость для многих, для большинства, перестраивать всю свою жизнь, искать новую профессию. Словом, начинать жизнь сначала. Но в каких условиях!

Февраль.

Как будто обнажается анатомический остов жизни. Какое слабое существо человек, и чем интеллигентней, добрей и лучше, тем слабее. Сколько привязанностей, привычек, которые осложняют жизнь. Отчего, казалось бы, человеку с развитием высших способностей не исполнять несложную канцелярскую работу? Нет, его нервы не выносят однообразного, притупляющего труда, подчиненности и унижения. Профессор, ученый, гибнет не желая расстаться с лабораторией, со своей библиотекой, а сторож его лаборатории всегда спасется, устроится, поступив в заградительный отряд, в хлебопекарню, компрод и т. п.

Март.

Ужасно устал, мечтается об отдыхе. Возможно-ль

это сейчас, при нынешних условиях? Когда вспомнишь, что есть на свете радости, — зеленый лес, тихая речка, луга, поля, — все это кажется видением из другого мира.

Настала весна, — и уже сколько удовольствий: солнце, тепло. Вместо одной комнаты можно пользоваться теперь двумя! На дворе стаял снег и все отбросы, сваленные туда за зиму, вышли наружу и отравляют воздух. Но обещают вскоре воду и уборную! Мы уже отвыкли от такой роскоши.

Весна томит и лишает сил. Ноги совсем не ходят, кости болят. Но в душе тронулся какой-то лед и я снова могу любоваться и Невой, и Летним Садом, и другими «перспективами» милого моему сердцу Петрограда, несмотря на всю теперешнюю его загаженность и многие разрушения.

Октябрь.

Дети заболели дезинтерией. Доктор настроен пессимистически. Жена не спит ночей, выбивается из сил, чтобы спасти их. Но нельзя достать ни лекарств, ни всего другого необходимого. Слава Богу, жильцы дома, наши добрые соседи, уделяют нам из своих запасов, кто что имеет. Несут муку, рис, чернику...

Жена выходила детей, но, после всего пережитого, решила уехать, во что бы то ни стало.

Ноябрь.

И вот они уехали, вернее бежали. Бедные девочки смотрели испуганно: им сказано было, что нельзя прощаться со мной, опасно. Они уезжали в это опасное путешествие, и надо было притворяться, скрывать свои чувства при разлуке.

Поезд отошел, я вышел из вокзала с мукой на душе. Остановился у трамвайного пути и огляделся кругом, словно приходя в себя. И все окружающее вдруг остро вошло в сознание: и промозглый туман, и грязь, и слякоть, и общая картина разрушения. Разрушенные дома, мостовая, какие-то обломки бревен и машин в стороне. И оборванные, унылые люди...

Вот сваливают картофель в мешках с трамвайной платформы. Какой-то мущина оттаскивает мокрые мешки в сторону. Кто это? Платный доброволец или подневольный раб? Собралось вокруг несколько человек, смотрят, обмениваются замечаниями. «Не стоит трудов, гражданин, одежду только портите, все равно картошка гнилая, никому не нужна». И пошли нудные разговоры... И все это нищее, убогое, жалкое, и окружающая меня скудная природа петербургского пригорода, все показалось вдруг таким родным, своим, связывающим меня со всем

прошлым... И так страшно стало от всего этого оторваться, уйти куда то в мокрый туман, в неведомое будущее...

Клубок подкатился к горлу и захотелось побежать вслед за поездом, вслед за ними, и закричать, и вернуть их назад, и вместе с ними все хорошее, светлое, родное...

Я вернулся в свой опустевший дом. Все кончено. Наш семейный очаг разрушен. Пустынно, одиноко, жутко...

Молюсь: только бы они благополучно перешли границу и добрались до цели своего опасного путешествия.

В ночь с субботы на воскресенье, 19/20 Февраля 1921 года, мы с матерью моей тайком перебрались через границу и покинули родину.

Мы в Териоках, в карантине. Милые Териоки. Тишина, покой. Заброшенный уголок вселенной. Как приветливо мелькают вечером огоньки среди белых, мохнатых ветвей опушенного снегом леса. Сколько раз я бывал, отдыхал в Финляндии. Но тогда было другое время и я был тогда иным, нормальным человеком. А теперь? Я еще не пришел в себя, не избавился от советских страхов. Всего боюсь: записать свои мысли, рассчеты, боюсь быть

самим собой. Процесс выздоровления моего придавленного, смятенного психического существа, вынужденного все время прятаться под корой советской мимикрии, только начинается. Я не могу сейчас читать, но у меня нет и мыслей. Под влиянием внешней перемены условий жизни все существо мое содрогнулось, на глубине души кипит какая-то работа. Я чувствую себя как будто после тяжкой болезни. Что-то ждет меня в будущем?

ВО ФРАНЦИИ

L'exil nous présente des objets de comparaison dont nous n'aurions jamais d'idée.

Dumouriez (Memoires).

Париж. 1923 год.

Чужую, незнакомую красоту постигаешь не сразу. Мои первые впечатления от Парижа, в марте 1921 г., смешаны были с разочарованием. Удивил меня общий серый фон Парижа, — серые дома, памятники, храмы, все в однообразном, холодном, сером цвете. Неудовлетворительными показались также парадные площади и памятники: Конкорд, Этуаль, Опера. Эта парижская парадность казалась мне какой то незначительной. Мне грезились проэкты Пиранези, которые я видел на гравюрах. Такою-ли должна быть «Арк де Триомф»! Парижский народ видом своим еще больше удивил меня. Я слышал о веселости, об экспансивности, о нарядности парижской толпы. Я увидел сдержанных, грустных, скромно одетых людей, с озабоченными лицами. Говорят, до войны Париж выглядел совсем иначе, но тогда, в 1921 году, еще не вполне были изжиты впечатления от войны.

Нелегко нам понять французов. Мешает наша разность и даже контрастность во многих отношениях. У французов одна из любимых добродетелей — умеренность — tempérance. Знание меры, гармония, скромное изящество, — таковы характерные свойства французских произведений искусства. Отсутствие грандиозности, а также чувственности. Нужно вглядеться в статуи средневековых мадонн: в них столько миловидной грации. Стоит сопоставить

гигантов Микель Анджело с поэтически элегантными созданиями французского ренессанса и его гения Ватто. Потому и не сродни Парижу ни Термы Каракаллы, ни арки Пиранези. Чтобы окунуться в мир французского понимания красоты, нужно забыть могучие торсы Микель-Анджело, загадочную улыбку Джиоконды, роскошную палитру Рубенса, экстатические образы Эль-Греко и Зурбарана. Может быть, для этого надо сойти с неба на землю, но земля эта так прекрасна, — окутана серебристо-мечтательным туманом Коро, освещена нежным закатом Лоррэна, оживлена веселым хороводом то древних богов и нимф, то беспечных придворных XVIII века.

Разве не пленяет нас французская женщина тем же неопределимым шармом, умением скрыть свои слабые стороны и оттенить достоинства, умением найти гармонирующий с ее внешностью, хотя и кажущийся скромным, наряд?

И в музыке их мы находим отражение тех же качеств души, тех же вкусов. Они совсем не ценят нашего кумира Чайковского, для них он слишком неумеренный, несдержанный, — из нашего искусства их пленяет больше восточная музыка, элемент экзотики или фольклора: Шехеразада, Испанское Каприччио—Римского-Корсакова, Половецкие танцы — Бородина, Петрушка, Жар-Птица — Стравинского. А у них Дебюсси, — красивая, изящная музыка, богатая новыми гармоническими сочетаниями, но бесстрастная, холодная, больше изобрази-

тельная, не выражающая никаких душевных переживаний.

У француза во всем есть чувство меры. Он понял ограниченность всего земного и этой ограниченности покорился. На дне души его всегда чувствуется некоторая усталость от жизни и скептическое гляденье сбоку на самого себя. Может быть, во времена Гюго было иначе?

Потому француз и не спешит жить, не жжет жизнь с двух концов, потому подчиняется правилам, порядку, традиции. Он уважает порядок и в общественной жизни. Он терпеливо ожидает трамвай, автобус, и строго соблюдает очередь при посадке. Меня всегда поражал контраст между «пылким, экспансивным» народом — французами — и нами — медленными северянами. Мы быстро приходим в раздражение и теряем терпение. На этих днях я слышал, как одна весьма скромная служащая бюро, француженка, сказала: «Я не могу рассуждать так, как будто бы все на свете делалось только ради меня». Вот мудрость, почерпнутая из долгого исторического опыта.

Француз уважает чужие привычки, но любит, чтоб уважали и его собственные. Он не придет к Вам без приглашения, когда это ему будет угодно и удобно, не будет отнимать у Вас время ненужными разговорами и мешать Вашей работе. Он не будет

залезать к Вам в душу с назойливым любопытством так же, как не пустит соваться без спросу и в свою. Перед Вами он всегда будет держаться подтянутым, сдержанным. «Ах, это неестественно», — скажут русские люди, — «как опротивела нам эта искусственная французская улыбка». Право, я начинаю любить эту улыбку. С улыбкой прислуга говорит Вам «мерси», когда Вы даете ей свое распоряжение, с улыбкой контролер автобуса возвращает Вам Ваш билет, с улыбкой извиняется толкнувший Вас пассажир. Разве это плохо? В этой улыбке я вижу умение жить с людьми, жить в неизбежном многолюдстве. Француз прежде всего человек светский, человек общества. Послушаешь только, как консьержка объясняется с почтальоном, так сейчас же заметишь в самом простом человеке какой-то отблеск галантности Великого века. Какие интонации, какие любезности. Слушал я как то в ночную пору, в метро, разглагольствования подвыпившего рабочего: ни одного грубого слова, много подлинного остроумия и превосходное построение речи. Настоящий оратор. При всей этой вежливости и любезности, даже при всей их любви к пурбуарам, у них много амбиции, которую задевать не следует. Да, нам взаимно трудно понять друг друга. Пишут их писатели и романы, и драмы, и статьи о русских. Руками разведешь, сколько там наивных благоглупостей. Ну, а наши о них суждения?

Относятся они к иностранцами с недоверием, с осторожностью. Ведь иностранцы большей частью

приезжают в Париж ради развлечений, чтобы делать здесь то, чего нельзя делать у себя дома.

Но французы вообще живут замкнуто, особняком от других. «Comme un rat dans son fromage», — как ядовито заметила моя приятельница м-ль Шмитт. Они рассчетливы, умеренны, аккуратны. Откладывают копейку на черный день. Есть у них определенный modus vivendi, определенные общественные требования, предъявляемые каждому, нарушить которые чрезвычайно трудно. Условие квартирного контракта: «vivre bourgeoisement» не есть выдумка домохозяев, но требование всех сограждан. Приглашать часто гостей и производить вечером шум отнюдь не полагается. Француз встает рано, завтракает аккуратно от 12 до часу. Это уж как по команде: на всех лестницах вкусно пахнет и раздается стук ножей и вилок; они любят и умеют поесть, недаром славится французская кухня. Ложатся спать они сравнительно рано, а утром уже с 7 часов начинается выколачивание ковров. Гости по французски называются invités, т. е. приглашенные, — незваных гостей у них не полагается; а приглашают они редко.

Что сказать о французской женщине? Знаменательно, что в истории Франции немало было героических женщин. Жанна Д'Арк, Шарлотта Кордэ. Есть что то странное в сочетании женственности, особого шарма и изящества, какие свойственны парижанкам, с теми резкими, мужественными движениямия, какие появляются у них в минуты гнева

и оскорбленного самолюбия. Мне бросилось это в глаза прежде всего на сцене, у де-Брей, и особенно у очаровательной м-м Пиера. Француженки далеко не так легкомысленны, не так склонны к флирту, как это принято думать. Это признают все наши «бабники». Не раз читаешь в газетах, что женщина свела кровавые счеты с неверным мужем или любовником. Они умеют защищаться. Русская женщина пассивней и кротче.

Презрительно говорят некоторые русские люди о мещанстве, буржуазности, «бескрылости» западных людей. Может быть отчасти это и справедливо, смотря по тому, кто так говорит и в каком смысле, и что они этому противопоставляют *). Однако, Французы, — эти «буржуа», полные «предрассудков», работают живо, бодро, весело, с раннего утра до позднего вечера. При этом только условии возможен регулярный ход столь сложной машины, как жизнь Парижа. Консерватизм, традиции, и в то же время— масса инициативы и энергии для осуществления разных улучшений и новшеств в жизни великого города. Съезжаются сюда иностранцы из всех стран света, — рассеяться, развлечься, поучиться, и этот город предлагает им каждый месяц новые развлечения, новые выставки, новые конкурсы. Каждый ме-

---

*) Вспоминается по этому поводу у Достоевского: «Русские люди — вообще широкие люди, — широкие, как их земля, и чрезвычайно склонные к безпорядочному, к фантастическому. Но беда быть широким без особенной гениальности». (Прест. и Нак.).

сяц он меняет свои аттракционы и свой наряд, показывая этим бездну изобретательности и вкуса.

Май.

Наша церковная служба вся идет с живого человеческого голоса и может вестись ритмично и музыкально. Главное, что к небу возносит сердца, есть пение хора. Отлична роль архитектуры и живописи: иконы пред глазами молящихся как то приближают к ним Господа и его святых. Иконы много теплее скульптур.

Широкий жест крестного знамения и поклоны, а затем стояние, все это придает больше активности молитве. Предстоящие пред Богом как то действенней стремятся к нему, нежели сидящие (как в театре); да в этом есть и своего рода телесный подвиг.

Прекрасны Мадонны в итальянских церквах, но молиться на них трудно, ибо красота их слишком человеческая, земная. В русских иконах есть нечто иное, условное и таинственное, — в этих темных ликах Спасителя, Богородицы и святых.

Вся наша церковная служба проникнута иным духом, нежели католическая. Готические соборы сумрачны и задумчивы, фигуры молящихся замкнуты и грустны, всюду образ Распятого, напоминающий о крестном страдании, а раскаты органа в «Dies irae» вызывают представление о Страшном Суде.

Іюнь.

Был на концерте г-жи Круаза (Croiza). Особый мир, новый мир. Зал полон французов, американцев тут нет (и русских тоже). В антракте слышал в публике, как цитировали Верлэна, напевали Дебюсси. М-м Круаза биссировала Mandoline, Clair de lune. Какая необычайная трудность, невероятная тонкость исполнения. Изощренности чувств, выражаемых поэтом, соответствует изощренность их музыкального выражения. Какое искусство, какая дисциплина требуется от певицы! Она была великолепна, неподражаема.

Шуберт, Шуман—гениальны, но здесь мир иной, новый. Тогда чувства были проще. Трудно было бы, мне кажется, нашим камерным певицам приблизиться к исполнению г-жей Круаза новейших французских романсов.

Февраль, 1924.

На днях была очередная моя поездка из деревни в Париж.

Когда вырвусь оттуда, всегда это возбуждает, волнует меня. Сажусь в автобус, а не в метро, чтобы видеть бульвары, толпу, свет, движение. Все это и радует, и пугает. Радует своей яркостью и шумом, вечным движением и чувством свободы. Пуга-

ет, словно огромное маховое колесо, словно страшная машина, заведенная неведомо кем и безжалостно дробящая на своем пути слабых и усталых. Я ехал с вокзала и видел по сторонам черные пропасти улиц, уходящих вниз и вверх, и вспыхивающие там и сям огоньки, желтые, красные, зеленые, я смотрел на суетливую парижскую толпу, на киоски с газетами и цветами, на бесконечную вереницу автомобилей, и, как никогда раньше, я почувствовал Париж, его стиль, его ритм, как нечто единое, целое. Давно неиспытанное чувство слияния с миром охватило меня...

Эта ночь, яркие огни в темноте, влажный порывистый ветер, вызвали вдруг во мне далекое воспоминание о Петербурге, о Неве, о таких же порывах ветра над ее простором. Сколько раз проходил я вдоль ее гранитной набережной навстречу буйному ветру и все в душе моей пело и трепетало тогда от избытка молодости и сил. Как давно это было. От этого воспоминания мне стало хорошо и в свой тихий семейный угол принес я в тот вечер непонятную для всех радостную возбужденность, которой долго не мог унять.

Март.

Так мы и остаемся вне французской жизни... А присматриваться продолжаем и все дивимся нашей

разности, разности отношения к жизни и друг к другу.

Француз всегда и невольно смотрит на себя со стороны и как будто говорит сам себе: все это, батенька, что ты говоришь,давно сказано лучше тебя, все, что ты чувствуешь, чувствуют и другие. Так старайся, по крайней мере, сказать это как нибудь покрасивей и старайся не докучать ближнему твоему длинными рассуждениями и, в особенности, жалобами. Скажи ему что нибудь приятное, лестное: он не поверит, а все же кое что у него останется от твоей улыбки и комплимента. Скажет, по крайней мере, что ты благовоспитанный человек. Вот какими они мне представляются, когда я вижу их говорящими между собой. Я говорю о светских людях. В этом смысле мне была интересна сцена наедине между героиней пьесы Бурдэ: «Homme Enchaîné» и ее другом, безнадежно ее любящим. Как он сдержан перед любимой женщиной, даже когда она сама просит его открыть душу перед ней и поплакаться.

Апрель 1925.

Пасха. Чудная, теплая ночь была, и много звезд. И опять шли и шли русские люди на улицу Дарю, чтобы хоть миг один пережить впечатление России. И пришло их больше, чем все прошлые годы, так что многие стояли на улице, во двор нельзя было

пробраться. Ждали двенадцати часов... Вдруг смятение, толпа раздвинулась, образовался свободный промежуток. В этом промежутке, посреди улицы, француз-городовой пинал пьяного русского. Это впечатление сохранилось ярко. Городовой — красивый и хорошо одетый — ловкими ударами бил и гнал перед собой оборванного и обросшего русского, который лепетал что-то вроде: «Мусью, кэль рэзон?». В толпе спросили: «Кого это он, француза?» — «Нет, нашего»... Жутко мне стало от этой сцены. Жизнь представилась мне в виде этого сильного и безжалостного «ажана»: как она бьет «наших»! Бьет и меня...

Ударило двенадцать часов, крестный ход показался в притворе. Вспыхнул магний фотографа. Я подумал, что, глядя со стороны, картина крестного хода, выходящего из церкви, во главе с митрополитом, должна казаться чрезвычайно стильной, словно выхваченной из далекой московской старины.

Июнь 1927.

Война и развитие техники, с ней связанное, еще более изменили западных людей. Уже сейчас на улицах городов, как на фабриках, только и слышно, что стук машин, — автомобилей и иных моторов. Воздух отравлен перегаром бензина. Опасно перейти улицу. Нужно иметь другую психологию, чтобы приспособиться к уличному движению. Ведь мы привыкли

передвигаться с помощью живых существ, а здесь бездушные машины, которых остановить нельзя во всякий данный момент, ибо тому препятствует закон инерции. И сами мы тонем в грохоте наших городов, из единиц, личностей, превращаемся в какую-то песчинку, в какую-то дробь, среди безликой толпы. Между тем темп жизни все ускоряется, движение автомобилей и поездов становится все быстрей. Жизнь проносится в каком-то вихре. В этом отрава для нервов, они требуют еще более острых ощущений. А авиация открывает новые измерения, новый мир чувств и восприятий, еще более лихорадочную скорость движения. Совсем иной тип человека нарождается ныне и отчасти уже народился, весь мир должен ему представляться в ином виде. Его мысли и чувства не доходят до глубины души, а спешат и спешат бежать по поверхности жизни, еле успевая схватить ежедневно сменяющиеся впечатления. Нервы его устают за день от напряженной работы, от постоянного шума, от быстроты движения, — где уж тут утомлять голову глубокими переживаниями и мыслями. Вот почему серьезный театр умирает, вот почему процветает синема. «Notre mode de vie ne nous permet plus le recueillement», сказал доктор Швейцер.

Апрель 1928.

Все меньше остается в нас русского. Забывается,

а мы сами того и не замечаем. И только иногда вдруг вспомнится, вызванное по какому-нибудь поводу. Приходит Страстная — и в глубине души оживают смутные воспоминания. Живешь, как обычно, и внешне ничто не напоминает Пасхи: осенняя погода, каменный город, интернациональная, вечно спешащая толпа. Днем я на службе, вечером или дома, или на концерте, или в синема, и т. д. А в глубине души все время что-то гложет: ведь идет Страстная. И пойдешь в церковь. Но как донести туда свое русское настроение, когда нужно пройти ряд шумных улиц, через осеннюю слякоть, опуститься в метро и, вынырнув затем оттуда, снова попасть на слякотную, парижскую улипу... И вдруг, среди всего этого, среди серых, каменных громад, встанет русская церковь со своими куполами.

В пятницу мне сказали: пойдите в «Мадлэн», там очень красиво. Пошел после службы. Много народу входило в церковь и выходило из нее. Все прекрасно организовано. Отдельно вход и выход. Внутри полумрак и лишь на левой стене ярко освещенное электрическим светом огромное полотно, весьма реалистически изображающее Голгофу. У подножия его масса цветов, среди которых особенно выделяется большой цветочный крест. Рядом стоят два столика, на каждом из них по серебряному распятию, к которым прикладываются верующие, подходя в строгом

порядке. За столиками сидят два мальчика, в одеждах хористов, и вытирают платком распятия после каждого поцелуя. Все совершается чинно, тихо, в порядке, но мне, русскому, от этой чинности и тишины стало холодно на сердце.

В русскую церковь я пришел до начала службы, — она была уже полна. Прикладывались к плащанице. Здесь порядка было мало, не было и роскошных цветов. Подходили гурьбой с разных сторон, некоторые спотыкались о кафедру, стоявшую среди церкви, все истово крестились, а иные становились на колени.

М-ль Шмитт удивила меня как то замечанием, что русские, по ее мнению, слишком открыто выражают свои религиозные чувства в жестах и телодвижениях. И в самом деле, когда входишь в католический храм, замечаешь там коленопреклоненные фигуры где-нибудь в углу, перед часовней; они стыдливо прячутся в полумраке и долго остаются недвижными, в застывшей позе, редко осеняют себя кратким и торопливым крестным знаменьем. И во время богослужения они только встают и садятся по ритуалу, да тихо читают про себя свои молитвенники, так что со стороны кажутся безучастными. Но это не так. Они внутренне сосредоточены и лишь сдержаны во внешних проявлениях своего чувства.

В пятницу вечером служили повечерие и утреню,

«Плач Богородицы» и «Погребение Христа». В начале службы у меня болели ноги и я думал, что долго не выстою. Выстоял-же два часа подряд и лишь возвратясь домой, почувствовал усталость. Прекрасно пел хор. Какое великое настроение создается от слияния религиозного и музыкального чувства, от выражения молитвы в пении. Как прекрасно, как глубоко отвечают религиозному чувству наши древние церковные песнопения. Мы мысленно поем вслед за хором, молимся с ним. Орган, при всей красоте и богатстве звуков у этого инструмента, не может заменить живого человеческого голоса и его действия на душу.

Служба началась в 8 часов. Около 10 ч. вышел я из церкви вслед за крестным ходом. Погода сырая, осенняя, моросил дождь. Хор пел, не взирая на погоду, в полный голос, в числе поющих я заметил известного артиста-баса Мозжухина. Около меня старик Дмитриев, известный общественный деятель, опустился на колени, на грязную, мокрую землю, когда проносили плащаницу. М-ль Шмитт сказала бы, пожалуй, что это слишком демонстративное выражение религиозного чувства.

1928 г.

БУНИНЫ.

Летом 1926 года я был в Канн. Оттуда как то про-

ехал в Грасс. Поднялся по тропинке к даче Бунина. Хорошо там, спокойно, и вид вниз на долину замечательный. Позвонил раз, другой, — никто не отвечает. Вдруг сверху, из мезонина, испуганный голос: «Ки э ля?». Выглянула из окна Вера Николаевна и, как то сразу успокоившись, сказала: «А, это Вы». Затем, оживившись, она добавила: «А Вы знаете,— я была больна, чуть не умерла». Через некоторое время она спустилась вниз и мы побеседовали,—недолго, правда, так как за ней вскоре должен был заехать Рахманинов и везти ее к себе на обед. Рахманинов, по ее словам, сказал недавно Бунину, что он для него самый интересный собеседник. «А сейчас Яна нет,—продолжала она,—он теперь больше внизу, на пляже. Ухаживает. Пишет он сейчас что-то такое про любовь, вот и ухаживает, для переживаний...А я, правда, чуть не умерла. У меня было воспаление легкого. Особенно один день мне было нехорошо и как раз в этот день случилась гроза. Я лежала в кровати, вдруг ветер распахнул у меня окно, сверкнула молния, раздался такой оглушительный удар грома, что я от испуга выскочила из постели и забилась в угол. У меня тогда была очень высокая температура. Я стала кричать, звать на помощь... Яна не было дома, а был лишь писатель Рощин, который гостит у нас. Но он писал в это время и ничего не слыхал: его, в тот момент, «образы одолевали», как он объяснил потом»...

Мы спустились на дорогу, навстречу Рахманинову. Он вскоре подъехал на своем роскошном Лин-

кольне, как всегда с бледным и строгим лицом. Он повез нас в Канн, сам управляя автомобилем.

Недавно, вскоре после Бунинского вечера, где он читал свои литературные воспоминания, я встретился с Верой Николаевной. Она стала рассказывать: «Ян с Галиной (Кузнецовой) пошли в синема. У него дурное настроение, — вот он и уходит в синема, чтобы уйти от самого себя. А там, верно, сидит и свое думает. Тяжело он переносит ощущения старости. От этого и к молодежи тянется. А сейчас еще ему неприятно, что многие его за литературный вечер ругают, за его воспоминания. Он к этому относится очень нервно. Писатели все сидели на эстраде. И меня приглашали, но я не пошла. Боялась какой нибудь неприятности. Они, ведь, все почти перессорились между собой: один руки другому не подает, другой не желает с таким то разговаривать, третьи открыто ненавидят друг друга... Что я пойду к ним! Бог с ними! Я сидела в ложе с Галиной и Зуровым. Как с ним познакомились? А вот как: мы с Галиной прочли его книжку и она нам понравилась. Решили сказать Яну, чтоб и он прочел. Мы у него вроде цензурного комитета. Ян тоже нашел, что это «настоящее» и написал в «Возрождение» отзыв о книге, похвалил. А тем временем мы узнали адрес Зурова. Как оказалось, он из Пскова. Любит свою Псковскую землю и хорошо знает ее. Там и язык

совсем особенный. Он написал на таком языке свою книжку: «Отчина». Большой успех имела и другая его повесть: «Кадет». Он совсем молодой, был в белой армии. Когда мы стали о нем справляться, оказалось, что он живет в Латвии. Ян написал ему и просил сообщить биографические сведения. Тот ответил, что мечтает приехать в Париж и накапливает деньги для этой поездки. Мы подумали: куда он там сунется в Париж, никого не зная... И Ян предложил ему приехать сначала к нам в Грасс. Так познакомились мы с ним, а потом и подружились».

Ноябрь 1930 г.

ШАЛЯПИН.

Недавно, в разговоре с Г. Л. Гиршман, Шаляпин жаловался, что в России его мало понимали и мало ценили (старая жалоба всех русских талантов, начиная с Глинки). Его имя ставили рядом с Собиновым, как будто они были равноценны, — и успех у публики Собинов имел неменьший, да и платили ему столько же, а то и больше... Только здесь, заграницей, в последние годы, когда он далеко не в расцвете своих сил, оценили его настоящим образом. Поняли, что хороших голосов и хороших артистов может быть много, но что Шаляпин есть явление ис-

ключительное, — артист ни с кем несравнимый, какой может появиться «раз в сто лет».

На репетиции «БОРИСА» — 12 Января 1931 г.

Репетируют сцену в келье, дирижирует Штейнман.

Приходит Шаляпин, садится в 1-ом ряду партера. Пимена поет Житовский, поет дубовато, безцветно. Шаляпин слушает, потом обращается к Житовскому с замечанием: «Зачем Вы так громко поете? Ведь музыка здесь тихо играет, — Вас всегда будет слышно. Поверьте мне, молодой человек, что чем тише Вы будете петь, тем больше впечатления произведете на публику. Ведь Вы изображаете старца, монаха, — старайтесь петь поблагороднее, интимней». Житовский: «Я стараюсь, Федор Иванович, да у меня с утра голос еще не разошелся, мне трудно». И продолжает петь так же зычно и грубо. Шаляпин волнуется: «Зачем Вы кричите! Я же сказал Вам, — пойте тише. Я же для Вас говорю, молодой человек. А впрочем, — делайте, как хотите»...

Партнер Житовского, — известный тенор Дмитрий Смирнов, в роли Самозванца, сидит на скамейке и с самодовольно-скучающим видом смотрит в театральную залу. Пропев вполголоса фразу: «Благослови, честной отец», небрежной походкой подходит к

столику, за которым сидит Пимен, и опускается на одно колено, чтобы принять благословение. Потом встает и отряхивает свои франтовые брючки.

Когда Пимен доходит до фразы: «Звонят к заутрени» и, при этом крестится сидя, Шаляпин не выдерживает: «Встаньте! Креститься надо стоя. Я же говорил Вам». Житовский вскакивает, сконфуженный: «Совершенно верно, Федор Иванович. Извиняюсь, я позабыл». Поет опять фразу: «Звонят к заутрени». При этом поворачивается к стоящему рядом Самозванцу, Смирнову.

Шаляпин: «Да не надо обращаться к нему. Что Вы ему доклад что ли делаете? Ведь он послушник простой. А Вы, услышав благовест, встаете, осеняете себя крестным знаменем и говорите: «Звонят к заутрени, благослови Господь своих рабов». Это Вы, старец, сами себе говорите, а не к нему обращаетесь. Надо это сказать проникновенно, благородно»... Сцена повторяется, но ни проникновенности, ни благородства, у Житовского не получается.

Смирнов стоит рядом с тем же небрежно-скучающим видом. Шаляпин к нему: «Митя, ты тоже крестись, когда благовест ударит». Смирнов с важностью: «Я знаю, Федя, — на спектакле я буду креститься».

За сценой поет хор. Шаляпин: «Нет, это совсем не то. Господин дирижер, объясните им». Штейнман просит повторить, но ничего не объясняет. Шаляпин опять недоволен. Из за кулис выскакивает хормейстер Аристов: «Как надо, Федор Иванович?».

Шаляпин: «Проще надо петь, совсем просто. Ведь Вы в монастыре поете, вот и надо петь просто, ровно, по церковному. Знаете, как в церквах поют». Надевает пенсне, заглядывает в ноты к дирижеру и напевает: «Помилуй нас, Боже, помилуй нас, Всеблагий». Указывает ритм, оттенки, паузы... Аристов уходит и повторяет с хором. Шаляпин: «Это лучше, но не совсем то. Они не поняли, я сам пойду, объясню им». Поднимается на сцену и сам дирижирует хором. Выходит совсем иначе, по церковному, производит глубокое впечатление.

Репетиция продолжается.

Март 1931 г.

Французская женщина о женщинах.

Вы спрашиваете меня, «доступны» ли женщины, легко ли добиться их взаимности в любви? Да, я думаю, что не трудно. Большинство женщин испытывает, ведь, душевную неудовлетворенность, desoeuvrement de coeur, а мущины активны, заняты делами, где им заниматься душевными излияниями. Business отучает их от этого и, в конце концов, у них отсутствует воображение. Таким образом, я думаю, что если подойти к женщине с этой стороны, легко додобиться ее доверия и взаимности (я не говорю о пошлых связях, разумеется). Но немного найдется

мущин, которые пожелали бы вести длинную осаду и затеять серьезный роман. Большинство мущин лениво в этом отношении. Вот почему тем из них, которые любят «ухаживать» за женщинами и посвящают этому занятию много времени и энергии, легко прослыть опасными Дон-Жуанами.

Май.

Ежели послушать суждения русских людей о французах, то эти суждения должны показаться довольно противоречивыми:

Одни:

Они шовинисты, сторонятся иностранцев, презирают их.

Они скупы, мелочны, копеечники.

Они сухи, замкнуты, церемонны.

Они легкомысленны, развратны (их бульварные журналы, рекламы, фильмы).

В политике — коррупция, закулисные влияния, отсутствие твердой власти, министерская чехарда, преобладание личных и партийных интересов над государственными и т. д.

Другие:

Они очень терпимы, не мешают нам жить по своему, даже помогают нам (помощь ученым, старикам,

больным, — ассюранс и ассистанс сосиаль, шомаж).

Они любят шутку, смех, веселы, любезны, умеют радоваться пустякам (их foires).

Франц. женщина прекрасная жена и хозяйка, обожает детей, вовсе не склонна к флирту.

Французы создали сильное, богатое и свободное государство, имеют замечательную литературу, искусство, науку. В трудную минуту умеют найти умных и твердых правителей и объединиться около них.

Богатая тема для дискуссий в эмигрантской среде.

Октябрь.

Уже с давних пор русская молодежь увлекалась идеями социализма и марксизма, но понимала их в смысле защиты слабых и угнетенных против угнетателей и эксплоататоров. Героическая идея, которую они неизменно связывали с требованием свобод: мысли, слова, совести. Они хотели не только сытости для голодного, но и свободы творческого духа. Что же изменилось с тех пор? Неужели молодежь перестала быть оплотом идеализма? Неужели в СССР она воодушевляется идеями мракобесия, идеями насилия духовного и физического над инакомыслящими? Неужели нет таких вечных вопросов

духа, которые срослись неотделимо с человеческой душой? И первый из этих вопросов — вопрос о свободе человеческой личности и ее духовных исканий. Можно ли воспитательными мерами превратить молодежь в тупое стадо? Можно ли воспитать людей за китайской стеной так, чтобы внушить им одинаковые мысли, одинаковые чувства и лишить критического чутья? Такой опыт «социального перевоспитания» будто бы произведен и удался в России. Это было бы ужасно, если бы это было правдой!

Февраль 1933 г.

Фельетоны «жены вредителя» взбудоражили мне душу. Теперь сам «вредитель», проф. Чернавин, опубликовал список 70 умученных неведомо за что (за несогласие с марксизмом?) русских ученых, прибавив, что эти 70 — лишь капля в море, действительное число погибших надо считать тысячами. Истребление русской интеллигенции! Иные скажут: «Надо бы это напечатать во французских газетах». Я сам так думал раньше, то есть что можно тут удивить Европу, вызвать нравственное возмущение... Больше я этого уж не думаю. Всякому своя рубашка ближе к телу, всякий народ руководится лишь своими интересами, а не благородством и разными моральными побуждениями. Людей истинно благородных единицы, да и эти единицы, по слепоте своей

или невежеству, увлекаются сейчас больше «пятилеткой», «опытом новой жизни» и т. д., не умея отличить того, сколько лжи и бахвальства скрывается за этими громкими словами. Политики, то есть Эррио и другие, прекрасно знают истинное положение России, знают и об этих мучениках науки, у них ведь есть отличные, профессиональные осведомители. И тем не менее они пожимают руку Литвинову, говорят комплименты по его адресу и подписывают дружественный пакт с палачами.

Но, по правде сказать, можно ли осуждать иностранцев за такое их отношение к нашим русским делам? Что им до нас?

Вот, напр., мой друг, испанец Ф., расписывается мне постоянно в любви своей к русским. «Если бы не большевики, я бы сейчас поехал работать в Россию». Все это искренно. Иногда, видя меня нервным и грустным, участливо спрашивает: «Что с Вами?»— «Да вот, — отвечаю, — разные неприятные вести с родины»... «Ах да, ужасно! — восклицает он, — я читал. Тысячи крестьян высланы в Сибирь, масса расстрелянных». Я радуюсь его сочувствию и начинаю делиться с ним своими сведениями. Он внимательно слушает и вдруг перебивает: «А читали Вы, что делается в Перу? Какие там расстрелы, ужасы»... На меня это «Перу» действует, как ушат холодной воды.

Что мне Перу? Но оно ему, может быть, ближе, чем Россия... Иной раз, увлекшись, начинаю всетаки рассказывать ему или другому иностранцу о

русских событиях, стараюсь объяснить, но чем больше объясняю, тем больше запутываюсь, тем больше чувствую невозможность объяснить русские условия жизни. «Как же население терпит все это? Почему не протестует? У нас это было бы невозможно», — говорит мне француз М. Да, правда, у них это было бы невозможно. Но как объяснить разницу? «Почему же ваши крестьяне терпят все эти издевательства и разорение? Почему не восстают?».

Начинаю объяснять географические условия, говорю об огромных пространствах России, о ее лесах, о черноземе, о климате, об отсутствии путей сообщения,, о редкости населения, о разделенности ее сел и деревень... «Mais c'est tout à fait sauvage», — восклицает мой европейский собеседник, — и у меня уже нет охоты продолжать этот разговор. В самом деле, газеты пестрят ужасами: там погибло от землетрясения столько то тысяч человек, в другом месте от наводнения столько то и т. д. Какая разница для них, идет ли речь о России или о Японии или Китае, или о странах Южной Америки. Можно-ли ждать от них горячего сочувствия в наших бедствиях? У них тоже есть свои нелады, свои заботы, и они нисколько не осуждают своих политических деятелей, которые поступают в отношении России так, как советовал в свое время Ллойд Джорж: «Торговать, ведь, можно и с каннибалами»...

Март 1933 г.

Прочел рассказ Зощенко: «Страдания молодого Вертера» и навел он меня на горькие мысли. Мы знаем, что такое большевистская власть, знаем, как большевики терзают русскую интеллигенцию, русских ученых, терзают в тюрьмах, в ссылке, в концентрационных лагерях. Но ЧЬИМИ РУКАМИ терзают и почему их находится так много, этих жестоких издевательских рук? Почему находится столько тюремщиков, чекистов, садистов, доносчиков и прочих, помогающих большевикам осуществлять кровожадную политику? Ведь для этого нужны десятки, а то и сотни тысяч этих мелких палачей, рассеянных по всей России. Истребляются лучшие, выживают бандиты. Во что обращается Россия! Темный народ русский...

Ноябрь.

Недавно отметил свое духовное сродство с Буниным (прочитав «Жизнь Арсеньева»), а через несколько дней узнал о присуждении ему Нобелевской премии. Мне стало радостно. Редко теперь слышишь что нибудь радостное, приятное, и я целый день ходил с праздником в душе. Удивительно, как это они дали ему эту премию, — нашему, эмигрантскому писателю, изгою, да еще пишущему и чувствующему по прежнему, по старому, — в то время как весь мир лобызается с палачами из СССР.

«За этот красивый жест многое простится Европе», — сказал Маклаков в своей речи на чествовании Бунина.

Январь 1934 г.

Читая статьи о Бунине и его творчестве, в связи с его успехом, я особенно ярко почувствовал, что все в нас, старых эмигрантах, наша манера воспринимать жизненные впечатления и выражать свои чувства, все это устарело, все это принадлежит истории.

Ведь Бунин — человек нашей эпохи, условия его воспитания, обстановка жизни в молодости, почти те же,, что и у меня. Неприятно чувствовать себя живым анахронизмом, но приходится с этим мириться. Старая тема о розни между «отцами и детьми» усугубляется для нас той пропастью, какую вырыла между нами революция и эмиграция. Раньше, в эпоху моей молодости, жизнь отцов и детей не отличалась между собой таким разительным контрастом, таким полным разрывом воспоминаний и традиций. Напротив, их связывали общие воспоминания, школьные, семейные, местные. Революция отняла у нас все, — и даже детей, в конечном итоге. В наше «доброе старое время» мы, молодые, дорожили близостью и дружбой со старшими. Не то теперь... И это понятно, но неутешительно.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ.

(Со слов В. Н. Буниной).

...Иван Алексеевич потерял голову с самого начала. Как пошли эти телефонные звонки да телеграммы. Зачем это нужно было всем звонить из Парижа к нам в Грасс по телефону? А за доставку телеграмм нам приходилось всякий раз платить по 5 франков. На другой день, как мы узнали о присуждении премии, явился к нам какой то странный господин и принес с собой огромный пакет. Он отрекомендовался шведским писателем Х., а в пакете он принес свои драмы. Объяснил, что драмы замечательны, но их нигде не хотят играть. Поздравил с присуждением премии Нобеля и выразил надежду, что отныне Бунин возьмет его на свое попечение. С трудом удалось собрать в доме 20 франков и выпроводить талантливого драматурга. Потом пошли письма соотечественников. «Милый Иван Алексеевич, я очень рада, что Вы получили премию Нобеля, о чем узнала из газет. От души поздравляю Вас, а вместе с тем у меня к Вам маленькая просьба. Дело в том, что муж мой, не найдя работы здесь, на Ривьере, уехал в Париж. Там ему удалось устроиться, но он зарабатывает пока не так много, чтобы оплатить мой проезд отсюда до Парижа»... Словом ей нужно на выезд, на расплату с мелкими долгами, жел.-дор. билет и проч., всего франков 600, каковые и просит выслать ей незамедлительно. И пошли такие письма,

одно за другим. Сразу вся русская Ривьера пришла в движение, всем срочно понадобилось куда то ехать и Бунин должен покупать всем билеты на проезд. Потом последовали разные выгодные предложения.

«Душечка Вера Николаевна, бешеный случай: скунсовая шуба—совсем новая и совсем задаром,— какие нибудь 50.000 фр. Вам не нужна шуба? Жаль. Но вот другой невероятный случай: жемчужное ожерелье за 30.000, а оно наверное стоит втрое»... И т. д.

Словом, прежних покоя и тишины в Грассе как не бывало, атмосфера стала нервной, беспокойной, Бунину уже не сиделось, сорвался с места, покатил в Париж. Ну тут и началось!

Встретила на вокзале депутация, подхватили, повели, втолкнули в такси. Повезли в «Мажестик» и, не спрашивая ни о чем, поместили его в этом шикарном отеле, как будто иначе и быть не могло. Оттуда сейчас же отправились гурьбой к Корнилову завтракать. Да и сам Корнилов обалдел, — накормил шикарным завтраком целую ораву, — человек триддать,—и денег не взял. Как тут не поверить, не почувствовать, что и в самом деле случилось нивесть что, — мировое событие. Вот тут Иван Алексеич и потерял голову окончательно и еще до сих пор прийти в себя не может. Начались завтраки, обеды, банкеты, поздравления, чествования. Все с ума сошли, не он один. Вспомнить только это знаменитое чествование в театре Шан-Элизэ. Что это? Зачем? Я еле успела приехать накануне. Ив. Ал. все не

хотел, чтобы мы приезжали, а все звонил к нам каждый день по телефону из Мажестика, — наговорил на пятьсот франков. Боялся что ли, что мы помешаем его блаженному существованию? А друг наш — Неклюдов, бывший русский посланник в Стокгольме, тот что написал «Старинные Портреты», уговаривал, напротив, меня ехать как можно скорей и непременно сопровождать Ив. Ал-ча в Стокгольм: «Вы увидите, Вера Ник., как это будет полезно для него и произведет там хорошее впечатление». Ну я и решилась ехать. Поехала я вместе с Галиной Кузнецовой.

Мы поместились, конечно, не в Мажестике, а в другой, более скромной гостиннице, неподалеку от него.

Так вот, это чествование... Я была уверена, что меня посадят где нибудь на эстраде, возле Ив. Ал - ча, — не тут то было. Объявили мне, что я буду сидеть в ложе, между архиереем и графом Коковцевым. Господи! Я их совсем мало знаю, а между тем я в таком нервном состоянии, — захочу ли поделиться впечатлениями или, чего доброго, разнервничаюсь и расплачусь, так мне не к кому даже обтиться. Пробовала отказаться, сказала, что хочу сидеть со своими, но на меня замахали, закричали, как сумасшедшие. Профессор Кульман сердито заявил мне:«Неужели Вы не понимаете, что теперь Вы себе не принадлежите, а принадлежите обществу!». Пришлось покориться. Сидела я в ложе и боялась глаза поднять. Зачем весь этот шум? К чему была

музыка, да еще плохая? И как неприятно, что с людей деньги брали, — билеты дорогие...

Потом поехали в Стокгольм и с нами Яша Цвибак, в качестве секретаря. Он, конечно, очень милый, веселый, и мы с ним друзья, но зачем он? Когда мы приехали в Стокгольм, нас встретили Олейников, Serge de Chessin и другие. Они все время были с нами и нами руководили. И недоумевали: «Зачем Вы привезли этого Цвибака, Иван Алексеич?». Но Ив. Ал. только руками разводил...

Денег Иван Алексеич роздал и натратил кучу. Говорит, что нельзя было отказать, — все друзья. А те требуют с него так, как будто права их на это неоспоримы. Вот на днях, например, уже по нашем возвращении из Швеции, приходит к Ив. Ал-чу писатель Р. и говорит: «Как я волновался, И. А., что Вы не вернетесь до 15 Января. Чем же бы я тогда заплатил за квартиру!». Ив. Ал. против такой наивности безоружен: и денег дал, и еще завтраком угостил. О эти угощения! Сам болен и есть уж не может, а угощать должен. Сидит, смотрит, как другие едят и — платит. Пожертвовал он на союз писателей и журналистов сумму немалую. Тем не менее приносят ему еще два билета на их вечер. Он дал 200 фр. Посланный удивленно спрашивает: «И это все?». Что Вы на это скажете? Таковы братья-писатели. А как его одолевают посторонние. Теперь уж не так просто попасть к нему в номер: портье спрашивает сначала по телефону, примет ли он. На днях портье звонит, что пришел ка-

кой то господин и желает видеть по очень срочному делу. Фамилия его Ив. Ал - чу неизвестна. «Пусть подойдет к телефону.». Тот подходит. «В чем дело?», спрашивает И. А. и слышит: «Иван Алексеич, мне удалось достать для Вас совершенно необыкновенную вещь. Бешеный случай: топорик Петра Великого, самый подлинный и, можно сказать, почти задаром. Но с этим делом надо торопиться. Впрочем, всех денег сейчас платить не надо, внесите мне пока хоть маленький задаточек, — тысяч пять...». Это не анекдот. И сколько таких предложений и просьб. Одолевают невероятно и так закрутили Ив. Ал - ча, что он подчас не знает, как ему отделаться. Теперь он сам начинает сознавать, что слишком далеко зашел и что если дальше так будет продолжаться, то от его премии скоро ничего не останется. Я только и мечтаю скорее увезти И. А. в Грасс, домой, а что дальше будет, не знаю. Не знаю даже, сколько в конце концов, останется от этой премии. Ничего менять в нашей жизни не собираюсь, будем жить так же скромно, как жили.

Главная беда в том, что не использовали успеха и пропустили время. Ивану Алексеевичу было не до того и он положился на других. В результате ничего еще не сделано в смысле переводов и издания его сочинений, а также и в отношении рекламы. На беду еще, он, под веселую руку, разрешил койкому переводить свои сочинения задаром. Теперь опомнился и только на днях опубликовал в газетах

письмо о том, что все его дела поручены Слониму. Но едва ли теперь наверстаешь упущенное. Я на это уж не рассчитываю...».

Апрель 1934 г.

В какие узкие, тесные рамки заключена большевистская мысль.

Все от экономики, все для экономики. Разбирать Ватто с марксистской точки зрения! Одно это чего стоит. Советский профессор Шмидт пишет про Тинторетто: «У него краски мрачные, потому что в эту эпоху Венецианская республика лишилась соляной монополии». Каково?

Или вот что я прочел в большевистской прессе относительно «Пиковой Дамы»: «Пиковая Дама» есть глубокий художественный анализ многообразного и сложного процесса распада не только феодально-крепостнических общественных связей, но и отношений, создававшихся наступающим капитализмом и решительно снимавших романтику интеллигентов-гуманистов с их идеалами «чистой» любви, дружбы, братства и т. п.». (Сборник статей к постановке «Пиковой Дамы» — Мейерхольдом).

Как все это плоско и скучно!

Май.

Мы, «деклассированные», невольно ставим себе разные неразрешимые вопросы, — на них нас наводит сама жизнь.

Вспоминаем слова Толстого: «Необходимое условие счастья есть труд, — труд свободный, во первых, и любимый, во вторых». Но нелегко найти такой труд на чужой стороне. Большинству приходится — в поте лица добывать хлеб свой, — трудиться только для того, чтобы существовать.

А между тем, чтобы не утратить жизненную энергию, нужно в труде найти приложение своей *творческой* потребности, работать в той области, куда зовут склонности и для которой есть способности, — наконец, в той, к которой подготовился за предшествующую жизнь.

Только так можно выявить себя, осуществить свое жизненное призвание.

Но многим ли это удается?

Ноябрь 1934.

АМ РЮСС.

По Адамовичу (не знаю, свое-ли это или он цитировал кого-то) ее характерная черта — отношение к жизни, — сознание, что эта наша повседнев-

ная жизнь сама по себе не важна, а есть что то другое, более важное, главное.

По Легра («Ame Russe») ей свойственна та особая атмосфера свободы, которая была только в России (то же говорила мне еще одна француженка, — моя учительница французского языка в Петербурге), и объяснялась она тем, что люди общались между собой и относились друг к другу, не взирая на принадлежность их к той или иной социальной категории. Всякого человека, как бы высоко или низко он ни стоял в общественном ранге, ценили и судили с точки зрения его обще-человеческих свойств.

Мне думается, что та свобода, которую чувствовали иностранцы, живя в России, объясняется еще тем, что у русских мало было определенных правил жизни и традиций. На Западе же эти традиции, установленный быт, стеснительны во многих отношениях.

Март 1935.

Поражаюсь я на иных из моих соотечественников, на их моральную бодрость и силу. Есть ведь такие, которые, после стольких лет изгнания и мытарств, опять снимаются с места, ищут пристанища на другом конце света, и там с огромными усилиями , начинают новую жизнь, опять

сначала. Пошла тяга в Парагвай, в Манчжурию и т. д., чуть не на край света. Недавно я прочел в газетах письмо какого то иностранного журналиста (кажется, Лонер, представитель Женевского эмиграционного бюро), на имя Президента Парагвайской Республики. В этом письме, между прочим, было сказано, что русские беженцы едут в Парагвай — «вследствие невыносимых экономических и МОРАЛЬНЫХ условий жизни в Европе»... Меня поразила эта фраза.

А ведь это правда. Какой позор для Европы, для культуры! Затравленные апатриды, эти «прокаженные XX века», как кто-то удачно выразился, эти «sales étrangers», — бегут из Европы не только потому, что их лишают права на труд, но и глубоко оскорбленные душевно. Они ищут «справедливой земли».

«Надо ехать туда, где мы будем нужными, а здесь нас только терпят, из милости, — а скоро, может, и вовсе терпеть перестанут»...

Такое рассуждение слышишь от всех этих людей, снимающихся опять с якоря, приблизительно одинаково и от интеллигентных, и от неинтеллигентных. Но легко сказать: «надо уехать», а как это осуществить? Однако, осуществляют. С упорным усилием воли копят заработанные гроши, отказывая себе во всем, и с маленькими сбережениями своими и со всем домашним и семейным скарбом трогаются в дальнюю дорогу, в неизвестное и часто

трагически печальное будущее. Горька еси ты доля русского беженца!

Март 1935.

Но есть много таких, — большинство, — которые остаются здесь, выстаивают в очередях в Префектуре и в Министерстве Труда, бьются, как рыба об лед, в погоне за куском хлеба, унижаются, изнемогают от усталости, безжалостно эксплоатируемые всесильным патронами. Удивительно, что все-таки они живы духом. Из любопытства я просмотрел русскую газету за одну неделю и нашел там множество русских кружков и собраний. Вот некоторые из них: Союз Младороссов, Национальный Союз нового поколения, Научно-философское общество, кружок «Душа России», кружок «К познанию России», Республиканско-Демократическое Объединение, кружок изучения России, Религиозно-Философская Академия, кружок молодых инженеров, Пореволюционный клуб, кружок «Устная Газета», клуб «Свободная Идеологическая Трибуна», и множество других научных, религиозных, профессиональных и т. д. кружков.

А вот названия некоторых докладов на этой неделе: О масонах и их политическом влиянии, Современное политическое положение Европы, Социализм и евангельская доктрина, Народное просве-

щение в Сибири (!), Душевная драма Гоголя, Наш долг перед родиной, Христианство и национализм, Что такое интеллигенция, Отказ Германии от Версальского договора и последствия этого отказа, Корпоративное устройство и управляемое хозяйство, и т. д.

Какое разнообразие тем, интересующих русскую эмиграцию.

Декабрь 1935.

Провел вечер с Буниным, Зуровым, Денисовым (певцом). Зуров разссказывал о своей летней поездке в Эстонию, на границу Псковской губернии. Рассказывал о встречах и разговорах с мужиками. Был на ярмарке и видел, как сотни баб и мужиков шли с плясом и пением. Так хорошо пели и плясали, что можно было бы в Париже показывать их, как заправских артистов. Одна старая бабка особенно поразила его: знала, по памяти (она неграмотная), старые свадебные обряды, — и песни, и пляски, и стихи, и прибаутки, — целую оперу можно было бы написать с ее слов.

Был Зуров в Печерском монастыре и на Валааме, работал по восстановлению старинной церкви на Печоре. Несколько лет назад и Денисов ездил в эти русские края и теперь они делились впечатлениями о тех местах и людях. Затем Денисов пел русские песни и частушки, а Бунин стал рассказы-

вать, как он собирал частушки в Орловской губернии. Насобирал их несколько тысяч, но они остались в России. Куда теперь делись? Вспомнил мужика, через которого достал большую часть их, и его судьбу. Рассказал целую историю про этого мужика, — преинтересный рассказ вышел, — хоть сейчас его печатай.

Все эти рассказы произвели на меня большое впечатление.

Мы, в нашей эмигрантской среде, привыкли больше вести разговоры о новостях, вычитанных из газет, либо о последних новинках в театре и синема. Здесь было иное, более значительное и более интересное. И я позавидовал своим друзьям. Какой запас мыслей, чувств, воспоминаний вывезли они из России, им они живут до сих пор, несмотря на столько лет изгнания, и черпают из него богатый материал для своей творческой работы. И вспомнились мне вот эти строки из «Косцов» — Бунина: «Ты прости, прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, что куда бы не забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь».

Январь 1936.

Во время моего путешествия по Англии я познакомился в Норвиче с г-жей Бирктбек, которая пода-

рила мне книгу о своем покойном муже. Биркбек — англичанин совсем особенный: человек очень религиозный, во первых, и, во вторых, влюбленный в Россию и во все русское. Но вместе с тем, он человек по английски основательный. Он изучил русский язык, русскую историю, русскую музыку, — в том числе старинную религиозную, — русскую иконопись и даже русскую богословскую науку. И с русской жизнью он знакомился основательно: сколько городов он изъездил, где только он не побывал. Изъездил он сотни верст на лошадях, в русских тарантасах, по русской грязи и ухабам. Вел беседы и с простым народом, и с представителями высшего общества. Больше всего его интересовала народная вера и русская церковь. Посетил он почти все знаменитые монастыри, — в том числе Соловецкий и Валаамский, был в Киеве, в Пскове, в Казани, на Волге, на Каме, на Урале. Ездил к старообрядцам, наблюдая миссионерскую работу русских среди татар, осматривал старинные русские города, как Ростов, Суздаль, Юрьев-Польский и другие. Он имел аудиенцию у Государя, присутствовал на Крещенском параде, на коронации в 1896 году, на Бородинских торжествах в 1912 году. Письма его полны восторга от виденного и слышанного. Особенно восхищали его торжественные религиозные службы в Петербургских и Московских церквах, — он нередко подробно описывал их в письмах к своей жене, — например, службу в Кремле, в Успенском Соборе, в день Успения, 15-го

Августа 1890 г., или заутреню в Кремле же в 1897 году.

Да, этот англичанин знал и любил Россию и русское, наслаждался русским великолепием, русской оригинальностью и красотами больше, чем мы, русские,, мы, русская интеллигенция. Нашей ошибкой было неумеренное преклонение перед Западом и несправедливое пренебрежение к русскому быту, русским особенностям... Когда, в 1916 г. Биркбек умирал у себя на родине, последними словами его были: «Иван Великий... Иван Великий...». Ему слышался благовест московских колоколов.

Октябрь.

Разные классы и сословия представлены в русской эмиграции. В ней имеются также представители самых разнообразных взглядов и течений, — от крайне правых монархистов и реставраторов до крайне левых социал-демократов и социалистов-революционеров. И, однако, если последить по газетам за списком собраний, то окажется, что большинство их посвящено религиозным вопросам.

В очерках о русской эмиграции, печатавшихся в «Последних Новостях», автор этих очерков, Парчевский, отметил, что повсюду во французской провинции, как бы мала или бедна ни была русская колония, ее первой заботой является постройка или устройство православного храма. Русская

Церковь, — утверждает Парчевский, — является в эмиграции центром сохранения и распространения русской культуры. Около нее образуется русская библиотека, школа, театр, клуб. Она выступает снова в средневековой роли своей — распространительницы просвещения. И не только в провинции, но и в Париже наблюдается тоже самое, и здесь образовалось около 25 приходских церквей и при них разные просветительные и благотворительные учреждения. И немало представителей интеллигентного класса принимает участие в работе этих учреждений.

Январь 1938.

Больших впечатлений в моей теперешней жизни немного. Новый — 1938 — год встретил с тяжелым сердцем. Никогда картина мировой жизни не представлялась мне столь безотрадной. Повсюду только и разговоров о войне, о вооружениях, все народы готовятся к смертельной кровавой схватке, а некоторые уже начали ее, да еще в форме невиданной жестокости и бесчеловечности. Нападение на незащищенные города, в далеком тылу, уничтожение и отравление газами мирного населения, — детей и женщин, — вот что новое внесла в жизнь народов современная техника, вот что обратилась мечта Икара (Абиссиния). Идеализм сейчас совсем не в моде, всюду царствует пресловутый «закон джунг-

лей», все подкарауливает друг друга и работают над изобретением новых, ужасных орудий смерти.

Февраль.

Недавно, наводя порядок в своем шкафу, наткнулся на старые письма друзей из России. Письма эти, от 1922 и 23 годов, полны благодарностей за посылки «АРА» Многим мы посылали их тогда, — некоторые имена почти изгладились из моей памяти. Трогательные письма, такие сердечные по тону. Люди описывают свою тягостную жизнь, несчастья, через которые пришлось пройти, а затем рассказывают, какую радость доставили им посылки и какую оказали поддержку, — иных чуть ли не поставили на ноги с одра тяжкой болезни. Так ясно всплыли передо мной картины русской жизни под властью большевиков. А вместе с тем ощутил я ту особенную, русскую атмосферу, которой мы здесь лишились и про которую забыли: простота и сердечность в отношениях, искреннее сочувствие и дружеская помощь один другому. Грустно стало от сознания, что здесь, в изгнании, я успел так далеко отойти от этой родной атмосферы. Случилось это постепенно, незаметно для самого себя... Прекратились посылки «АРА», трудней, опасней стало писать письма в Россию, — прекратилось и общение с друзьями.

---

12 апреля 1938 г. умер Шаляпин. Умер он — этот баловень судьбы — в тяжких страданиях. Грандиозные похороны ему устроили русский и французский Париж. Из храма на рю Дарю повезли гроб в Гранд-Опера и там, во дворе, отслужили литию. Случай небывалый для иностранного артиста.

Французская пресса отдала ему должное. Известный критик Виллермоз свою статью о нем озаглавил: «Géant de la tragédie lyrique», а знаменитая артистка Сесиль Сорель, в антракте представления в театре Антуан, предложила публике почтить память Шаляпина минутой молчания и сама опустилась на колени. «Мы похоронили величайшего артиста нашей эпохи», — сказала она.

Май 1939.

В мое отсутствие из Парижа, внезапно скончался Константи Андреевич Сомов. Сомов был другом нашей семьи. Он не был очень близок лично мне, — и возраст, и многое другое нас разделяло. Но теперь я почему то часто вспоминаю о нем и мне его как то недостает. Подойти к нему близко было нелегко. Он казался человеком «заграничного» типа, — несколько замкнутый, всегда подтянутый и даже манерный. В тоже время он был чрезвычайно русским, — с его чувством природы, с его любовью к музыке и пению. Что мне особенно нравилось в нем,

— его прямота, искренность и независимость суждений. Он иногда резко судил о людях, но всегда справедливо и беспристрастно, без мелких чувств зависти или обиды. Другая привлекательная черта его — скромность. Он никогда никому не давал чувствовать, что он «мэтр», знаменитость, большой художник. Он ни с кем не говорил свысока, это совершенно не вязалось с его милым симпатичным обликом. Но когда кто либо обходился с ним по хамски, —будь то человек сильный и знаменитый,—Костенька давал ему должный отпор. Он был эстет во всем, но не сноб. Всегда одет со вкусом, — изящный галстук, красивый шарф, невольно привлекали внимание. И дома он окружал себя красивыми безделушками, которые он умел так удивительно «выписывать» на своих интерьерах В живописи я профан, но меня сближала с Сомовым его любовь к музыке. Он всю жизнь понемногу учился пению и пел с увлечением для самого себя и для друзей. Даже последние годы жизни он брал уроки пения у Аллы Томской. Больной, с трудом передвигаясь, он нетнет да отправлялся в концерт — послушать хорошую музыку. Болезни и ощущения старости доставляли ему немало страданий, но он не любил жаловаться и я никогда не слышал от него старческих охов и вздохов. И до конца дней своих он сохранил, как свою работоспособность, так и некоторую юношескую свежесть и интерес к жизни.

Ни в наружности, ни в характере Сомова не было ничего от артистической богемы. От многих товари-

щей по профессии он отличался своей культурностью и европеизмом. Его серьезность и солидность находятся, казалось бы, в странном противоречии со склонностью к шаловливо-скабрезным сюжетам, каковые занимают немалую область в его творчестве. Объяснение этому, я думаю, надо искать не столько в чувственной стихии, сколько в его склонности к юмору и скептицизму. Это легкая ирония и фривольность людей XVIII века, — недаром Сомов любил изображать именно их.

Июнь 1939.

Случайно вычитал в английском романе: «Спаркенброк» следующие строки: «Не жалуйтесь никогда, — говорила мисс Харди в школе, — не ищите для себя извинений, а только для других. Берите на себя ответственность за свои поступки, ибо причина их в вас самих».

В самой обыкновенной английской школе самая обыкновенная учительница внушает детям этакую премудрость! А я вот впервые вник в эту премудрость только на склоне лет своих. Вот это называется воспитывать характеры. А нас в юности учили прямо противоположному, — мы привыкли слагать с себя ответственность на обстоятельства, на других людей, на «среду», — и всегда оправдывали самих себя. «Среда заела!» — какая это бы-

ла излюбленная тема в нашей литературе и журналистике.

Как ни плоха была наша средняя школа, все же она воспитывала нас на здравых понятиях, на классической литературе (Пушкин, Тургенев, Лермонтов, Гоголь) и на Евангелии. Тогда еще не до думались до того, чтобы добро называть злом, а зл — добром, чтобы проповедывать взаимную ненависть и борьбу против всех. Так же было и в Университете.

Указ Екатерины: «Правда и милость да царствуют в судах», — остался девизом русской юриспруденции и русского правосудия вплоть до революции. В нашем поколении воспитывали стремление к добру, к милосердию, и уважение к человеческой личности. Это было базой нашего морального сознания. А что в теперешней советской школе? А гитлеровская молодежь!


ВОИНА

Ноябрь 1939.

Война... Опять мы перед новым периодом нашей жизни, перед новыми испытаниями. Опять прошлое, — даже ближайшее, — отодвинулось далеко назад, между ним и настоящим воздвигнулась стена, Чувствуется, что это прошлое окончательно похоронено, а что принесет будущее, — неизвестно. Цели и последствия войны рисуются ответственными политиками в идеалистических красках, но так ли это будет? Ведь войну 1914 года объявляли «последней», а через двадцать лет вот новая, еще более ужасная. Страшно и тоскливо от сознания, что жизнь постоянно меняется и течет случайным потоком, — ни цели, ни смысла этого потока нам не угадать. Жизнь наша создалась из таких разорванных клочков, — нет в ней единства, нет связи с прошлым, нет определенных тенденций в будущем. Даже воспоминания теряют свою сладость и значение и постепенно растет отупение ко всему на свете.

Сентябрь 1940.

В мае кончилась drôle de guerre и началась настоящая война. Но какой трагический оборот приняли тотчас события! Я был в одном ресторане за завтраком, когда Пэтэн сказал по радио о сложении оружия. Его слова произвели потрясающее впечат-

ление, женщины рыдали, у некоторых вырывались истерические восклицания, наступила полная растерянность... Никто не ожидал такой полной и быстрой катастрофы.

Март 1944.

28 Марта 43 г. в Америке умер Рахманинов; 31 Марта в Aix-les-Bains — Милюков. 27 Февраля 1944 г. здесь, в Париже, умер П. Б. Струве. Несмотря на невозможность поместить объявление в газетах, на похороны его пришло много народу, — почти полная церковь на Дарю. Были здесь, главным образом, остатки интеллигенции, — какие все постаревшие, измученные, облинялые. Служило пять священников, в их числе отец Сергий Булгаков, о. Киприан Керн, проф. Зеньковский, — все три ученые, профессора. Я думал о том, что раз в эмиграции были такие люди, как Струве, Булгаков и другие, дело эмиграции нельзя никак считать бесплодным. На эту эмиграцию выпала какая то важная историческая роль и эту роль она выполнила. Плоды деятельности верхушек эмиграции будут иметь значение не только для России, но и для всего мира.

По словам профессора В. Б. Ельяшевича, Струве был ходячей энциклопедией. «Я не встречал в жиз-

ни моей человека, который знал бы столько, сколько знал Струве», — сказал Ельяшевич. И добавил: «Даже Милюков».

Да, эмиграция продолжала культурную деятельность вне России. Были в ней деятели науки, искусства, литературы, — и старые, и молодые. Когда нибудь напишут историю этой эмиграции. Сколько в ней славных имен. Всех и не перечислишь. И Шаляпин, и Дягилев, и Рахманинов, и Стравинский, и Бунин, и Глазунов, — все это, ведь, эмигранты. А сколько еще замечательных людей и ученых (Н. Беляев, Д. Рябушинский, Ипатьев, Кондаков, Ростовцев, А. Максимов, Милюков и многие другие).

Если русские их современники и не могли непосредственно воспринимать плоды их деятельности, все же для мира и для будущей России они не потеряны.

Август.

Разговор с доктором Б.

«Послушайте, ну какая теперь может быть практика! Люди сейчас недоедают,, — об излишествах в еде говорить не приходится, — значит болезней желудка не может быть. Жировых веществ не хватает, жирной пищи нет, закусок тоже, — вот и пе-

чень в порядке. Ни кофе, ни алкоголя нельзя достать, потому и сердце работает исправно. Посудите сами, какая же тут может быть практика».

Октябрь.

Молодости свойственен идеализм. Раньше мысль эта была утешительна, так как с идеализмом связывались у нас всегда стремления к добру и благородству. Не то теперь.

Гитлеровские эс-эсы тоже «идеалисты», но во имя этого идеализма они выжигают целые деревни и расстреливают женщин и детей, а евреев истребляют с утонченной жестокостью.

Советская молодежь тоже идеалистична, но ее не возмущают ни жестокости чрезвычаек, ни концентрационные лагери, ни отсутствие права и свободы в России.

Что же вдохновляет эту молодежь на подвиги самопожертвования? Чем питается их энтузиазм?

Гитлеровцы считают себя высшей расой, призванной поработить все остальные народы. В этом их пафос, во имя этого «идеала» они подвергают средневековым пыткам евреев и всех, кто восстает против их угнетения.

Советская молодежь кичится тем, что СССР — самое передовое, «пролетарское» государство, а потому их мало интересует, что делается у других

народов. Напротив, все другие должны учиться у них и следовать их примеру. «Jactance russe», — как определил André Gide в своем «Retour» e и там же отметил, что советские молодые люди даже не замечают полного отсутствия у них свободы и критической мысли. Они думают и чувствуют все одинаково, — по советской «Правде», а правды не знают и не ищут.

Вот к чему приводят «тоталитарные» режимы.

Ноябрь.

...Нет возможности передать, рассказать все, что узнал, испытал, перечувствовал во время этой войны. Иногда казалось, что живешь во сне. Где я? Эти газеты, эти афиши на улицах, в метро... Систематическая ложь, гнусная пропаганда... Черные полицейские автомобили, носящиеся по Парижу и охотящиеся за людьми.

А жертвы этой травли должны ходить с желтой звездой на груди и покорно ждать своей участи. Заложники, расстрелы... Невероятные приказы, расклееиваемые на стенах, обыски, облавы на улицах и в кафэ, и открытое разграбление чужого имущества... Все это производится культурнейшими нациями, в двадцатом веке после Рождества Христова!

Май 1945.

Праздник победы. Густые толпы народа на Шан-Элизэ. И на тротуарах, и на мостовых, — ни пройти, ни проехать.

Вся толпа движется взад и вперед без цели, кричит, поет, сплетается в хороводы, облепляет автомобили, пытающиеся проехать, словом беснуется, как обезумевшая. Главным образом, все орут. Прорвавшееся, наконец, наружу, долго сдерживаемое чувство свободы выражается в шуме, крике. Может быть, это и есть наиболее естественное, физиологическое проявление этого чувства? Кричала и веселилась, главным образом, молодежь, люди постарше наблюдали со стороны это беснование.

Мне казалось, что это не было искреннее, настоящее веселье, а какой то надрыв. Люди стараются заглушить в себе сознание пережитого, стараются забыть о жестокостях и зверствах, невольными свидетелями и участниками коих они явились.

Я почувствовал, что и сам я жил эти годы не в полную меру своего сознания и чувства, а инстинктивно, ради морального самосохранения, замыкался в какую то скорлупу, старался не продумывать до конца и не переживать впечатления от войны.

Война ужасна! Можно ли веселиться по ее окончании, при известии о победе? Нет, не до веселья тут! Можно лишь глубоко вздохнуть, освободившись от кровавого кошмара.

Но воспоминание о нем прогнать не так то легко.

И ужас перед тем, до чего дошло «культурное» человечество.

А затем мысли о погибших, о друзьях, безвинно сосланных в Германию. Что с ними?

Октябрь.

Опять всколыхнул все во мне процесс Бельзенских мучителей. Какие кошмары! Живых людей и детей, в том числе, душили в газовых камерах. Ужасы голодной смерти и даже каннибализма! Поразительней всего, — это врачи, производящие мучительные и смертоносные опыты над живыми людьми. В какой другой стране нашлись бы такие врачи? И находятся люди, которые пытаются оправдать это, защитить немцев. И какими аргументами? Кроме обычного: «все это преувеличено», говорят, что и другие народы делали или делали-бы то же самое. Разве это аргумент? Я не понимаю, как поворачивается язык при виде этих фактов говорить что нибудь в их оправдание? Какая может быть иная нормальная реакция, как не ужас и возмущение? Что это? Недостаток воображения или стремление усыпить свою совесть? Как нужно было бы сейчас слово Достоевского или Толстого, чтобы назвать происходящее в мире своими именами, чтобы открыть глаза слепым, чтобы пробудить человеческую совесть.

Декабрь.

Был у Люси Н., слушал рассказ доктора Левина (ассистент проф. Бодуэна) о его пребывании в Аушвице и о смерти, вернее — об убийстве моего друга Поля... Да, это был несомненно Camp d'extermination. Даже живых детей бросали в печь. Истребляли тысячами не только евреев, но и русских пленных, и поляков, и других. Гитлеровский режим воспитал эс-эсов зверьми. Крематории, газовые камеры, вспрыскивание фенола, или попросту выстрел митральезы, — всякие орудия убийства. Я уж не решался спросить, как убили Поля. Все это чудовищно. «По дороге в лагерь он от слабости упал и его добили», — сказал Левин.

Декабрь.

Рассказ д-ра Левина.

Левин был арестован в декабре 1941 г. Пробыл в Аушвице два с половиной года. Потом переведен в другой лагерь, а перед освобождением находился в лагере Эбензее, в Австрии.

Побоями у него сломаны два ребра; кроме того, он перенес тиф. Видно человек двужильный. В лагерях люди числились под номерами и у него на теле выгравированы два номера. Помоглю ему спа-

стись то, что он врач, хотя много врачей все-таки погибло. Он работал в лагерях, как врач, но раньше, чем ему дали врачебную работу, ему пришлось заниматься тяжелым физическим трудом в каменоломне. Главный врач в лагере, немец, имел две задачи: изолировать эпидемических больных и отделять слабых, негодных для физической работы, чтобы их уничтожать. Иногда эта операция — отделения слабых — возлагалась на простых унтеров и те делали это на глаз. Отделенных людей не кормили и отправляли в газовую камеру. В жизни лагерей было несколько периодов. В первый период у лагерного начальства была одна задача: уничтожать как можно больше людей. Во второй период, когда война затянулась, немцы стали эксплоатировать рабский труд лагерных сидельцев, посылая их на фабрики. Но деньги за работу получало лагерное начальство. Тут для физически сильных людей и для людей, знавших какое либо ремесло, был шанс на спасение. Левин работал одно время вне лагеря у одного врача, в его Институте, делал медицинские анализы. Врач этот — человек очень образованный, кончил два факультета. Он относился к Левину прилично, иногда даже подкармливал. К лагерю он не имел никакого отношения и все-таки однажды, когда узнал, что из лагеря сбежало несколько человек, он добровольно отправился на преследование бежавших. Эта «охота» видимо доставила ему удовольствие.

Декабрь.

Доклад доктора Цитрона в Мечниковском Обществе.

В общем то же, что рассказал д-р Левин. Цитрон тоже был в Аушвице. Больше всего его поражала бесчеловечность врачей. Когда прибывал конвой, врач стоял, покуривал и делал небрежный жест в ту или другую сторону: отбирал более слабых и старых для газовой камеры. Беременные женщины всегда назначались в газовую камеру. Никто почти больше двух месяцев не выживал. Надзиратели могли безнаказанно убивать, кого хотели. Госпиталь на 1.600 кроватей был хорошо оборудован, но на одну кровать клали по два человека. Всякого рода записи и исследования велись с немецкой тщательностью, но вылеченный больной мог попасть через несколько дней в газовую камеру. Д-ра Цитрона пересылали несколько раз из одного лагеря в другой. Эти переселения были кошмаром. Иногда приходилось ехать на открытых платформах, в мороз или под дождем, по нескольку дней, с т о я, так как эти платформы были переполнены. Так же мучительны были переклички: нужно было часами стоять в струнку в рядах, и притом в любую погоду.

Январь 1946.

Очень хорошо выразил Куприн то ощущение, с каким мы, эмигранты, те, которые приехали сюда в сорокалетнем возрасте, — живем в Париже:

«Почему то прелестный Париж (воистину красоты неисчерпаемой) и все, что в нем происходит, кажется мне не настоящим, а чем то вроде развертывающегося экрана кинематографии. Понимаешь ли, я в этом не живу. Это все понарошку, представление. Знаю, что когда вернусь и однажды ночью вспомню утренние парижские перспективы, площадь Звезды, каштановые аллеи, Булонский лес, чудесную Сену под старыми мостами, древние дома, пузатые от старости, Латинского квартала, визгливые ярмарки, выставки цветов, розы Багателя, внутренний двор Лувра, и все, все, все... — знаю, что заплачу, как о непонятной, ушедшей навсегда любви».

Это письмо написано в 1923 году, но с тем же ощущением живем мы и теперь, в 1946. Мы не вошли в эту жизнь, а только со стороны наблюдаем и судим о ней. Она может быть своей, родной, только тем, кто родился или вырос здесь, кто проводил свои детские годы в Тюильри или на Шан-Элизэ. А мы росли среди лугов и полей, лесов и степей, и не можем забыть своих просторов.

И наши дети, если поедут в Россию, будут смотреть на нее глазами иностранцев.

Март.

Опять это лицемерие, эти протесты против испанских казней и одновременное подлизывание тех же самых деятелей, писателей и ученых, к советским владыкам, которые расправляются еще проще с тысячами невинных людей. Тюрьмы и концентрационные лагери попрежнему полны и русская Гестапо работает, не покладая рук. Почему такая масса «невозвращенцев»? Откуда у них такое твердое, решительное нежелание вернуться на родину, когда нам, старым эмигрантам, так хочется туда? Значит остался тот же невыносимый режим, который выгнал оттуда людей всех классов и состояний и самых разных убеждений, от правых до самых левых. Когда же, о Господи, воскреснет Россия! Когда придет она к свету, к свободе!

Апрель.

Какая жизнь выпала на нашу долю! Поймут ли, поверят ли потомки?

Не говоря об ужасах только что оконченной войны, в каких моральных условиях жили мы, русские эмигранты, двадцать лет перед ней. Моя мать не могла переписываться ни со своей дочерью, ни с родным братом. В Европе друзья, родные были отделены друг от друга китайской стеной. Напишешь самое невинное письмо, открытку,, сестре, дочери, ее там

посадят за получение этого письма в тюрьму (за «общение с эмигрантами», а то за «шпионаж»). Как все это бесчеловечно. И все это еще продолжается и сейчас, — мы и теперь ничего не знаем о своих родных... Живы ли они? Что с ними?

Май.

Был на днях в балете, в театре де Шан-Элизэ. Опять шумная толпа и споры-разговоры в фойе. А я думал о тех, кого недостает здесь, кого раньше встречал, а теперь их не стало, и почему и как их не стало. И жутко сделалось мне перед безжалостностью судьбы, перед человеческой торопливостью в забвении прошлого, в искании новых впечатлений. Еще недавно миллионы людей гибли, калечились, переносили тяжкие страдания, пытки, атмосфера жизни была невыносимой, полной ненависти и страха. Это, слава Богу, прошло и уже люди спешат предать забвению все это, недавно бывшее, возобновить прежний ход жизни, как будто ничего не случилось, ничего страшного не произошло. Снова театр,, балеты, музыка, новые моды, новые развлечения...

Август.

В прошлую среду я приехал на площадь Бастий, чтобы сесть в отокар.

Был прекрасный летний вечер. На площади сильное оживление: ярмарочные балаганы, крикливая музыка, множество людей, окончивших свой рабочий день и спешащих к поезду. Вокруг балаганов сборища зевак. Заходящее солнце ярко освещало вывески и плакаты, столь характерные для Парижа. Меня окружала живая, говорливая парижская толпа... Мне вдруг вспомнился Париж, каким он был до войны, — сколько в нем было жизни, бьющей ключем, движения, красоты. Впервые после кошмара военных лет представился мне тот прежний Париж и то ощущение, с каким мы жили в нем. Я подумал, что скоро, веоятно, он обретет этот свой прежний облик и ритм жизни, свою гармоничность и красоту. Мы снова будем любоваться им, но прежнего ощущения жизни у нас уж, конечно, не будет.

И всплыли в памяти стихи поэта-эмигранта о Петербурге:

...Я знаю, город погребенный
Воскреснет вновь, все будет в нем
Прекрасно, радостно и ново,
Но только прежнего, родного
Мы никогда уж не найдем.

Ноябрь.

Вчера довелось мне обедать в обществе Бунина. Он сильно постарел, задыхается, астма. Ему 76 лет.

Был в добром настроении и очень прост. Доволен был, что в русской газете помещен отрывок из дневника Андре Жид, в котором он хвалит внешность Бунина. Бунин попросил меня даже прочесть вслух этот отрывок, что я и исполнил. Рассказывал про принца Петра Ольденбургского, что встретил его как-то у Фундаминского - Бунакова, где в то же время был Зензинов и другие эс-эры. И принц, очень довольный этим обществом, восклицал: «Господи! Да какие вы все хорошие, симпатичные! Если бы Коля (Николай Второй) вас знал, все в России пошло бы иначе, не нужно было-бы никакой революции». Относительно Шаляпина сказал, что разговор с ним был неинтересен. На последнем концерте его Бунин зашел в антракте в артистическую. Шаляпин, больной, пел с трудом. Он спросил Бунина, как звучит в зале его голос. Бунин ответил: «Так и хочется помочь тебе, Федя, подпеть тебе»... Ответ малоутешительный. Последнее время многие из эмиграции упрекали Бунина за нескромность некоторых его рассказов в сборнике: «Темные Аллеи», а потому интересно было услышать, как он стал возмущаться неприличием некоторых признаний в дневнике Андре Жида и порнографией в произведениях американца Миллера. Рассказывал о своем визите к советскому послу Богомолову. Тот будто бы намекал на возможность возвращения его, Бунина, в Россию. Но Бунин дал понять, что он такого предложения не принял-бы.

Февраль 1947.

Еще из разговоров с Буниным.

«Многие думают, — говорил он, — что я черпаю свои сюжеты из действительной жизни, из пережитого лично мной, а между тем все, что я пишу, создано моим воображением. Как трудно это было мне в молодости. Сижу, бывало, часами над листом бумаги и силюсь придумать что нибудь, какой нибудь сюжет. И ничего не выходит. Опыта жизненного не доставало. А теперь мне так легко придумать сюжет, никаких особых усилий не стоит... Надо работать над своим воображением, надо развивать его».

Он возмущался новым правописанием, особенно окончаниями «ого» и «его». Допускал еще уничтожение ятя и ера. И то ять, по его мнению, иногда слышится в слове, а без ера слово выглядит куцым. Прочтешь: «война и мир» — и не знаешь, о каком мире идет речь. Привел из Пушкина:

«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной,
Напоминают мне они...».

Где-же рифма?

Июль 1949.

Удивительное дело, как это западные государственные деятели не удосужатся дочитать до конца

учебник русской истории. Одни не пошли дальше Ивана Грозного, другие — Петра Великого, и как будто ничего не слыхали ни о Судебных Уставах Александра Второго, ни о деятельности Земств и Городов, ни о Государственной Думе, ни о многом другом, что происходило в России во второй половине 19-го века и в начале 20-го.

Потому так наивны суждения о России, «царской» России, и у Эттли, и у Бедель-Смита. Впрочем, последний читал Кюстина; но дальше Кюстина, видимо, не пошел.

Сентябрь.

Был у нас д-р Беляев, недавно возвратившийся из Америки, где он пытался пристроить свои сочинения. Читал он, между прочим, В. М. Зензинову свою статью о государыне Александре Федоровне, с которой лично был знаком, когда работал во время войны в Царскосельском лазарете. Зензинов, прослушав статью, будто бы расчувствовался, даже прослезился, и сказал: «И подумать только: ведь я был террористом!».

Январь 1950.

Каких контрастов полна наша жизнь!

Восьмидесятые годы прошлого века, — эпоха моего детства: патриархальный уклад жизни среди

полей, лугов, лесов. Уездный город Т. — в 60 верстах от жел. дор., сообщение на лошадях, почтовые тройки, как во времена Пушкина и Гоголя. Русские степи, либо первобытные, дремучие леса. Таковы воспоминания моего детства. Какая спокойная жизнь, — войны, мировые события, все это так далеко... Словно где то на другой планете. А теперь?

Как сказал Эйнштейн, — и не он один, — наука достигла того, что несколькими хорошими бомбами можно уничтожить все живое на земле.

Тоталитарные режимы, пятилетки, «демокраси попюлэр», — война снова висит в воздухе и нет уголка на земном шаре, куда можно было бы спастись от нее. Счастливое человечество, — вот до чего дожило.

Ноябрь 1952.

8 Ноября умер Бунин. Сегодня похороны, — торжественные,, достойные его. Служил архиерей и несколько священников, храм был переполнен, множество венков.

Жаль не столько Бунина, — ему было 83 года, — сколько того, что ему пришлось жить и умереть не на родине. Но он носил ее до конца жизни в себе, внутренне жил только в ней, он не способен был офранцузиться, хотя бы отчасти. В своем творчестве, в мысли, в языке, он оставался русским с головы до ног. Вот почему офранцузившиеся русские

не могли достаточно оценить его. А он был одним из самых крупных русских писателей. Все же это понимали многие и эти многие пришли проститься с ним. Пришли, конечно, писатели, пришли адвокаты, врачи, и прочие представители старой русской интеллигенции, еще оставшиеся в живых.

Январь 1953.

К смерти Бунина.

Бунин долго болел; почти не вставал с постели несколько последних лет. Несколько раз повторялось воспаление легких. Последнее время совсем отощал и обессилел. Врачи предлагали переливание крови, — он категорически отказался. Как это? В его «голубую» кровь вольют неведомо чью, неведомо какую. Ни за что!... Смерти очень боялся. Приказал, во первых, никому не показывать его лица после смерти, что и было исполнено, — он лежал, все время закрытый простыней. Второе, — просил похоронить в цинковом гробу, так как почему-то опасался, что к нему в гроб заползет змея!

А, может быть, — мысль иная была у него при этом?

Май.

Был на днях в синема на Champs Elysées, — редкий случай, чтоб я выбрался теперь из своего квартала. Если случалось за последние годы попадать в центр Парижа, чувствовал себя в нем каким-то провинциалом. Теперь, выйдя из синема, я невольно залюбовался Парижем, его яркими ночными огнями, блеском роскошных витрин, непрерывным потоком автомобилей; но ощущение было такое, словно гляжу на все это d'outre tombe, словно заглянул на здешнюю жизнь в какое-то окошко с того света. Как многое изменилось после войны, и куда все это пойдет дальше? Когда нас уже не будет...
